

П О Э Т

Виктор АРДОВ

КОГДА я произношу или слышу слово «поэт», прежде всего в моем сознании возникает Юрий Олеся.

Я неоднократно встречался и разговаривал с Маяковским; много раз видел Есенина; учился в средней школе вместе с Луговским. Ко мне домой приходил не раз Пастернак. Я дружил со Светловым. Но эти два слова — «поэт» ассоциируются для меня именно с обликом Юрия Карловича...

Почему так происходит?

Есенин в жизни был подчеркнута прозаичен. Больше всего он напоминал лихого деревенского парня, который настолько обаятелен, что убежден твердо и навсегда: как бы он ни созорничал, ему все простится. Маяковский последовательно исключал из своего поведения элементы, хотя бы отдаленно напоминающие «литату».

Луговской была таким добрым, что в общении с людьми старался быть подобным своему собеседнику.

Светлов воздвиг вокруг себя высокий забор из иронии. Он стеснялся где-нибудь, кроме как в стихах, обнаружить малейший элемент лирики.

О Пастернаке именно Олеся рассказал мне следующий эпизод. Он, Олеся, был в гостях у Мейерхольда в начале тридцатых годов. Приглашенных было много, гости заполнили всю небольшую квартиру в Брюсовском переулке (ныне улица Неждановой). И сам Олеся разговаривал в столовой с дамами, когда появился в дверях Всеволод Эмильевич и пальцем поманил его к себе. Олеся послушался, и хозяин дома привел его в спальню. Там в уголке у окна разговаривали между собою Борис Пастернак и Андрей Белый. Их оживленный разговор продолжался и тогда, когда приблизилась Мейерхольд с Олешей. Но это был такой диалог, что, как признавался Юрий Карлович, ни он, ни Мейерхольд не поняли ни слова. Минуты через три хозяин дома увел Олешу в коридор.

— Ты что-нибудь понял? — спросил Мейерхольд.

— Нет!

— И я ничего не понял! — заключил Мейерхольд. — Вот шаманы, а?

Разумеется, в устах Мейерхольда слово

«шаманы» было наполнено самоиронией: Всеволод Эмильевич отлично знал, что его самого обвиняют в «шаманстве».

Привожу этот случай для того, чтобы подчеркнуть: ход размышлений у Пастернака был совсем иным, чем у Олеси. Ход ассоциаций в беседе у Пастернака был в такой мере необычным и парадоксальным, что Олеся говорил об этом:

— Пастернак разговаривает «алгебраически»: в процессе мышления и изложения он опускает посредствующие формулы и производит только несколько опорных «цифр», а затем приводит результат.

Юрий Карлович только дебютировал в стихах и очень скоро перешел на прозу. Но для нас он все равно истинный поэт. Ведь не рифмы же, как таковые, формируют поэта!

Утверждаю, что до конца своих дней Олеся воспринимал мир, реагировал на все, что его окружало, высказывался и совершал поступки именно как поэт. Это было для него органичным. Он никогда не думал: «Дай-ка я скажу то-то или поступлю так-то, ибо так должен говорить и действовать поэт». Он просто не мог жить и вести себя иначе!

Олеся и в 60 лет был поэтичен в такой мере, что любой юноша, наполненный самими возвышенными представлениями, намерениями, помыслами, рядом с ним — со стариком, прошедшим не слишком удачливый жизненный путь, казался подчас банальным и старомодно скучным, несмотря на свою молодость.

Вот я написал эти слова: не слишком удачливый. Увы! — это было так. Но в том-то и заключается неповторимое своеобразие истинного поэтического дарования: ничто не могло стереть с самых разнообразных граней этой личности ее высокую лиричность.

Можно изменить почерк для записки в несколько строк. Но нельзя скрыть органически присущую тебе систему начертания букв, если пишешь большой труд. Так и тут: чтобы всю жизнь производить впечатление, что ты поэт, надо быть поэтом.

Юрий Карлович сделался легендарной фигурой еще при жизни. Самая внешность его — неповторимая и воистину поэтическая — привлекала внимание. Невысокий, худощавый человек с короткой шеей и го-



Юрий ОЛЕША. (Снимок 1958 года).

ловой, откинутой назад, с глазами, о которых хочу сказать подробнее.

Когда-то все, кому приходилось встречаться с Львом Толстым, отмечали его светлые и пронзительные, казавшиеся даже злыми глаза. Мне рассказывал наш замечательный скульптор-анималист И. С. Ефимов: Анна Голубкина вернулась из Ясной Поляны, куда она ездила лепить Толстого. Ефимов спросил свою приятельницу и коллегу: каким она нашла великого писателя? Голубкина ответила неожиданно и кратко: — Волк он, вот кто! У него глаза

во льчи! Наверное, людям, привыкшим к общим местам и запомнившим раз и навсегда, что Толстой — «благостный старец», покажется непонятным это утверждение талантливейшей художницы. А между тем гений Толстого и должен был выражаться в беспощадно остром, всепроникающем зоре.

Олешу нельзя было назвать волком. Но глаза у него были лесные. Знаете, такие светлые-светлые — даже зрачки кажутся светлее белков. И что-то в них мерцает вольное, независимое, как у лесного зверя, который никогда не станет ручным. Постоянно проходит в глазах непонятная и своя смена мыслей и чувств, иронии и пафоса. И это все — для себя. «Выход» эмоций и мыслей для нас, для собеседников и зрителей (а Олешу всегда рассматривали люди как некое чудо и глазами на него — на этого неповторимого человека), «выход» — гораздо меньше того, что ощущает, думает, переживает поэт... Да оно и естественно: разве мог Олеся делиться со всеми тем, что возникало в нем? И так-то он был удивительно щедр в общении с людьми. Я не знаю литератора или художника, артиста

или ученого, столь искреннего, словоохотливого, демократичного, как Юрий Карлович. В нем это сочеталось еще с поразительным тактом. Если Олеся не хотел быть сию минуту злым и беспощадным по какой-либо причине, то его деликатность и доброжелательность не имели себе равных.

Повторяю, злыми глаза Олеси никогда не были. Но все равно — то были глаза лесного вольного зверя.

Кукрыникисы в шарже на Юрия Карловича в начале тридцатых годов очень хорошо передали взгляд поэта. Они просто так и нарисовали на своем листе: радужная оболочка — белая (то есть не затемненная ничем бумага), а белки — серые: окрашены чуть-чуть углем. Обычно бывает наоборот: зрачки у людей темнее белков. Но у Олеси зрачки именно светились, озабоченные интеллектом поэта!.. И вольную грацию фигуры, его легкий, полетный жест передали художники в этом рисунке. Впоследствии кто бы ни рисовал Олешу, темные белки и светлые зрачки непременно появлялись в карикатурах и зарисовках.

Вообще он был похож только на самого себя во всех проявлениях своих и во всех чертах. И чувствовался в нем дух талантливого польского народа. Откровенная и зажигательная романтичность, свойственная этой нации, окрашивала и творчество, и жизнь поэта. Так же как в Гоголе постоянно присутствовали элементы его мировосприятия украинца, так и Олеся в своих произведениях выражает не только себя, но и типичные свойства польского народа.

У Юрия Карловича эти качества безмерно обогащены всем строем русской литературы, которую он, разумеется, знал и понимал поразительно: глубоко, широко и — своеобразно. Не случайно, например, Театр имени Вахтангова заказал Олеше инсценировку «Идиота» Достоевского. В этой пьесе недостаточно было честно переписать в виде реплик персонажей диалог оригинала или мысли автора. Требовалось проникновение в дух и строй великого произведения. И притом — наряду с тонкой точностью (извините за неуклюжее сопоставление двух этих слов) желательна была еще и законченная изящность мысли и слога, которая не противоречила бы замыслам гения, а, наоборот, выражала бы их эффективнее, чем то возможно в прозе. Сцена есть сцена. И даже от Достоевского и Толстого она требует специфической стройности в новом построении сюжета. А если речь идет о романе, которому сам автор не придал драматургическую форму, литературное дарование инсценировщика обретает огромное значение. И правильно поступили вахтанговцы, привлекая к сценической интерпретации сложного и знаменитого создания великого писателя именно Олешу. Он полностью оправдал надежды театра.

Оценка литературных трудов Олеси не входит в задачи моих заметок о нем. Но этот писатель больше, чем многие из его собратьев по перу, был органически единым индивидуумом — и в своем творче-

стве, и в быту. Потому-то мне пришлось заговорить о сочинениях Олеси.

Да, Олеся писал поэтически. Но ему было чудно («нагнетание красок») во что бы то ни стало. Помнится, я спросил у Юрия Карловича: как он оценивает прекрасные прозаические произведения одного литератора, имевшего шумный успех? Олеся ответил, сморщившись, будто отведал чего-то невкусного:

— Слушайте, нельзя писать так красиво!..

Он не только говорил так: он и писал, привлекая в свои книги детали и характеры, поступки и чувства реальные, пусть и не совсем изящные. Но только так делается подлинная литература! А сладкописцев Олеся презирал.

Редко у кого бывало и бывает, чтобы все то время, когда писатель бодрствует, он не отдал себя от творчества, от литературы, от попыток осознать и осмыслить буквально все впечатления бытия — зачем? — на потребу будущих произведений или по крайней мере для литературной игры. Я подчеркиваю: литературной. Почти все иронические или пародийные, нарочито нелепые и смешные, а подчас и печальные думы, афоризмы, эпиграммы, просто шутки Олеси имели отношение к его творчеству, к полемике Олеси с чуждым вкусом других писателей, к публицистической оценке явлений действительности. И вот из этого нейскажущего потока столь многое делалось интересным, забавным, нужным и даже поразительным для друзей и знакомых, для читателей и коллекционеров-библиофилов, что можно смело сказать: к печатным произведениям Олеси все время добавлялось его устное творчество.

Шутки и парадоксы нехитрого свойства охотно печатают и исполняют с эстрады. Олеся никогда не нагибался до таких промыслов. Но его и по сей день цитируют люди, которые слышали самого поэта, и даже те, до кого дошли в стуюстой молве жемчужины, рожденные Юрием Карловичем для себя или в крайнем случае для тесного круга друзей-писателей...

Мало кому известно, что Олеся был мастером поэтической игры, совершаемой при публице. Речь идет о так называемом «Буриме». Французский этот термин, означающий по-русски «рифмы», присвоен сеансу публичного сочинения стихов на рифмы, тут же заданные аудиторией. Нет надобности пояснять, что это нелегко. И на астрале всегда крайне редки исполнители буриме. Олеся виртуозно владел молниеносным стихосложением. Его выступления помнят современники — в Одессе и в Харькове, в Москве и в поездках, которые Олеся предпринимал в двадцатых годах в качестве фельетониста газеты «Гудок», во время которых наш покойный друг давал сеансы буриме.

У Олеси был великолепный аппарат писателя: говорю так по аналогии с «аппаратом музыканта». Известно, что сила звука, его глубина, темперамент, умение взвять сразу более октавы на фортепьяно или на скрипке, скорость игры и ее выразительность — то есть все то, что делает музыканта великим или посредственным, одаренным или слабым, — называется «аппаратом музыканта». Так вот и у писателей существуют свои приемы литературной техники. И не просто техники: аппарат писателя включает в себя такие свойства, как умение видеть детали действительности; изощренность (или однообразие) ритмов — в прозе они не менее важны, чем в стихах; выразительность и стойкость мыслей и описаний; богатство собственного словаря и способность слышать и воспроизводить прямую речь живых людей... Думается, не нужно продолжать перечисление. Достаточно только сказать, что писательский аппарат Олеси был удивительно мощным. Все его произведения свидетельствуют об этом. Когда читаешь Олешу, неизменно поражаешься его творческой щедрости, Влывх, проходных, пустых мест у него нет. Видение мира неповторимо яркое и острое. Метафоры и эпитеты Олеси, его стиль и своеобразие таланта явлены читателю в первой же книге — в «Зависти» — и не убывали до смерти Юрия Карловича. Вспомним посмертное издание «Ни дня без строчки»: эти записки могут служить учебником поэтической речи!..

Однажды я сказал Юрию Карловичу, что атмосфера «Трех толстяков» подобна сказкам Андерсена. Он улыбнулся и произнес добродушно: — Ну, конечно! Я и хотел этого! Добавлю от себя: хотеть может всякий, но вот достигнуть...

Издавать знаем мы определение, сделанное А. П. Чеховым: проза поэта. Да, поэт, отказавшись от стихотворных размеров, не может утратить или сознательно отказаться от своего скрупулезного отношения к слову, к его игре, к взаимодействию образов и эпитетов, ритмов и красноречия... Присмотритесь к прозе Олеси, и вы легко постигнете: это пишет именно поэт!

И живая речь Олеси изобличала в нем поэта: он голосом умел показать слушателям, как он ценит каждое слово, каждый звук не только в рукописи, но и в чтении вслух, и в простой беседе. Звонким тенором, с хорошо отработанными интонациями человека, которому привычно излагать свои совсем не простые мысли перед аудиторией, декламировать стихи и прозу — собственные и чужие, Олеся тщательно, но неназойливо выговаривал все слова и все слоги. Я написал: декламировать, ибо это забытое у нас определение, ставшее даже ироническим термином, точно выражает манеру говорить Юрия Карловича. Пишу так не в осуждение. Да, художественные произведения нельзя пробалтывать бытовыми интонациями, глотая звуки и произвольно создавая паузы. Спокойно века поэты произносят свои стихи значительно, в присутствии каждому из них своеобразной манере. И в том выражается творческая индивидуальность стихотворца.

Вот и Олеся с юности разработал, развил, определил для себя высказательную систему произношения. Она была наполнена

его мироощущением, его видением действительности и его откликами на впечатления бытия. Мягкий и мелодичный диалект русского языка, свойственный жителям всех мест — от Одессы до Пятигорска и Закавказья, в устах Олеси звучал благородно и даже возвышенно. Немного смягченные шипящие, не слишком подчеркнутые «а» вместо неударяемого «о» (вспомним, что в Средней России это «аканье» императивно окрашивает нашу речь) придавали разговору Юрия Карловича литературный характер. Казалось, что человек, который так бережно относится к фонетике, соответствующей правописанию, делает это потому, что для него первоисточник постижения мира — литература, и последнее выражение собственных мыслей и опыта — тоже литература. А изустная речь — только вторичное воспроизведение написанных или напечатанных слов либо помыслов, также предназначенных для опубликования.

Далеко не всякий (даже литератор) в такой мере уважает литературу письменную и устную, чтобы подчинить свой голос и весь строй своей речи канонам и приемам, свойственным, как выразились бы в прошлом веке, «словесности». Олеся и в этом был последовательно и одержимо поэтом. До самого конца жизни. Очевидцы рассказывают: умирая, Юрий Карлович оставался таким же взыскательным по отношению ко всему, что его окружало, как и в расцвете сил. Сверстник, земляк и старший друг Олеси писатель Лев Славин свидетельствует: большой Олеся обратил внимание на газетный лист, которым загорделиво люстро, чтобы она не тревожила изысканной яркостью ламп умиравшего, в сущности, поэта. И вот Олеся, очнувшись, взглядевшись в люстру и произнес: — Уберите газету... это же неэлегантно...

Надо добавить, что сам Олеся никогда не был франтом. Излишняя элегантность в костюмах и прочем обиходе не была ему свойственна. Но тут задело было глубокое чувство изящного, которое не оставляло нашего друга во всю жизнь!..

И та вечная литературная тренировка, на которую обрекал Юрия Карловича его жертвенная отдача себя всего перманентному творчеству, — она тоже была тренировкой поэта. Он никогда не пропустил найденного им случайно — хотя о какой же случайности можно говорить в этих условиях? — образа или рифмы. Помню, в разное время он делился со мною (а я никогда не был в первом десятке его близких друзей: просто я был литератор — следовательно, его собрат по перу, — так мыслям Олеси) находками такого типа:

— Хорошая рифма — не правда ли? — медяками и медикамент...

Или: — Тигра поймали и посадили в клетку. И он пишет друзьям в джунгли о себе: «Я — в запарке, сижу в зоопарке!»..

Или: — Сытый человек за столом грызет сыр

зубрами.

Или: — Ну-ка, нарисуйте тигра. (Я рисую.) Что вы! Тут не хватает главного! Как же вы не заметили, что тигр — сутулый!..

Олеся сперва движениями плеч и рук показывает походку тигра (это — стоя на месте), а потом рисует пером на бумаге фигуру тигра в профиль. И действительно: тигр получился сутулый. Его спина как бы образует тупой угол поближе к шее. И передняя лапа, видная на рисунке, тоже согнута и вывернута, словно это рука сутулого человека. Рисунок Олеси оказался гораздо более похожим на тигра, чем мой обстоятельно реалистический набросок.

А как он шутил! Его шутки тоже выражали характер мышления поэта.

Поздней ночью, возвращаясь домой, Юрий Карлович обратил внимание спутников на то, что в доме писателей, где он жил, все окна уже темные. И Олеся с комическим гневом воскликнул:

— Подумайте! Все уже спят! А где же ночные вдохновения?! Почему ни один из них не спит, предаваясь творчеству?!

Уже после войны я был в гостях у Никулина вместе с Олешей. Вместе мы и покинули квартиру Льва Вениаминовича (который, кстати, очень любил Олешу, восхищаясь его шутками и дарованием и очень хорошо написал о нем). И Никулин, и Олеся жили тогда в писательском доме в Лаврушинском переулке. Во дворе к Олеше подошел обыкновенный драный кот и требовательно обратился к нему, как написал когда-то Алексей Николаевич Толстой, «хриплым мявом»:

— Мяу!!

Олеся нагнул голову и виновато сказал: — Послушай, у меня для тебя сейчас ничего нет... Я принесу завтра котлету... Ты будешь есть котлету?

Но кот не желал ждать до завтра. Он повторил свое требование громче и протяжнее. Олеся зачастил извинениями:

— Пойми: сегодня уже поздно... Где я могу достать для тебя еды?... Завтра я с утра куплю котлет или мяса... Неужели ты не можешь переждать несколько часов?!

Поверьте: я не придумал эту сцену и не шушу. Так разговаривать с животным мог только доктор Гаспар из «Трех толстяков». Добрый доктор Гаспар Арнери, придуманный Олешей!

Когда бы вы ни встретили Олешу, он всегда был полон новой мыслью, наблюдениями, открытиями, образами и рифмами, неожиданными заключениями по поводу исчерпанных, казалось бы, тем и явлений. И настолько полон, что сейчас же принимался рассказывать вам свои сомнения или утверждения, находки или сожаления... Нет, он не ждал от вас признания его правоты или смеха над шуткою. Собеседник ему был нужен, чтобы еще раз самому прослушать ход собственных домыслов или проверить подлинную ценность тех элементов будущих произведений, которые рождены сейчас, сегодня, вчера...

Вот таким и был наш друг — Юрий Карлович Олеся.

„Литературная Россия“ № 11, 1969 г.

325